

народничеством», правда кажется искажением, и даже «злобным», — хотя в ней и больше любви, чем во всех новых и старых Григоровичах², вместе взятых. В каком-то старинном романе есть приблизительно такой диалог:

— Люблю... и для меня все в ней прекрасно! Никаких недостатков не замечаю.

— Нет, люблю — и все вижу. Но все-таки люблю.

Нельзя отрицать, что второй род любви мужественнее, устойчивей и долговечнее.

Мне кажутся наиболее удавшимися рассказами в книге:

первый, давший название всему сборнику, несколько напоминающий теперешние вещи Бунина, грязная и жуткая любовная развязка, пятый акт ненаписанной драмы; затем «Я все молчу» — наиболее суровый по тону, с лирическим отступлением о церковных нищих, отступлением, которое мне хотелось бы списать целиком, настолько оно для Бунина характерно:

«Ужасные люди в две шеренги стояли во время обедни в церковной ограде, на пути к паперти! В жажде самоистязания, отвращении к узде, к труду, к быту, в страсти ко всяким личинам — и трагическим, и скоморошеским — в темных преступных хотениях, в слабОВОЛИИ, вечной тревоге, бедах, печалях и нищете, Русь издревле и без конца родит этих людей... Что это за лица, что за головы! Точно на киевских церковных картинах да на киевских лубках, живописующих и дьяволов, и подвижников мати-пустыни! ... (длинное перечисление)... И все это, напоказ выставив свои лохмотья, раны и болезни, на древнецерковный распев, и грубыми басами, и скептическими альтами, и какими-то развратными тенорами вопит о гнойном Лазаре, об Алексее Божьем человеке, который в жажде нищеты и мученичества ушел из-под отчего крова, „не знамо куда“ ...»

Наконец, короткий рассказ «Забота» — может быть, лучший из всех. Мужик собирается в город продавать барана. Ехать ему не хочется, продавать барана жалко. На дворе — осень. «В потухших глазах — тоска». Ничего в рассказе не происходит, никакого действия не придумано. Но как все истинно художественные произведения, созданные как бы «из ничего», рассказ от этого лишь значительнее. Его темой является не то, что находится на поверхности жизни, «приключения», а то, что лежит

в глубине ее. От рассказов без действия в нашей литературе одно время житья не было, — и не без основания русские молодые писатели обратились в последние годы к «фабуле». Но ведь то были рассказы, в которых не существовало ни внешнего, ни внутреннего содержания — только многословие и туман. При наличии действия углубленного события, парящие на поверхности, сами собой тускнеют и исчезают. В конце концов, ведь и в «Смерти Ивана Ильича»³ никакой «фабулы» нет.

Можно ли говорить о творческом росте Бунина, сравнивая его вещи, написанные пятнадцать лет тому назад с теперешними? По глубокому моему убеждению — да. В советской критике было недавно высказано мнение резко противоположное. Отчасти в этом сказалось стремление показать и доказать, что в эмиграции все чахнет. Но была и искренность: рост внимания к человеческой душе за счет интереса к быту марксистам не может нравиться⁴. Но нам кажется, что именно в этом «взлете над бытом» Бунин действительно нашел самого себя — и что «Митина любовь» и несколько последних его повестей чище, сильнее и как-то свободнее всего, что он писал до сих пор.

Ф. СТЕПУН

Иван Бунин. Божье древо⁵

Еще в 1926 году в своей статье о Буине (по поводу «Митиной любви») я писал, что в творчестве этого писателя как будто начинается нечто новое⁶. «Жизнь Арсеньева» вполне оправдала мое предчувствие⁷.

То, что в прежних вещах было самым существенным, самым главным, самым бунинским, в новом романе отступает на второй план. Конечно, и в «Арсеньеве» картины России — дворянско-деревенской, мещанско-городской, интеллигентски-революционной — даны с тою же стереоскопической рельефностью, в которой Бунин не знает соперников. Но все это для «Арсеньева» не характерно и в нем не важно. За это изумительное изобразительство Бунина, по-старому, хочется благодарить, но не оно, по-новому, влечет к нему. Новое в «Арсеньеве» не пластика, а музыка. Некое, не передаваемое словами звучание тверди небесной, той тверди духовной, под кото-